

**Читатели: свои и чужие.** Издав в 1827 г. книгу «Жизнь Наполеона», Вальтер Скотт продолжал дорабатывать произведение и обратился к Д. В. Давыдову с просьбой прислать свои замечания. Давыдов сделал подробный разбор ошибок, допущенных знаменитым романистом, и поделился собственными военными впечатлениями. Однако в 1832 г. Вальтер Скотт умер, так и не успев познакомиться с письмом поэта-партизана. Между тем, Давыдов поместил письмо в отечественной печати, объяснив этот шаг следующим образом: «Так как замечания мои не могут уже быть полезными сочинителю, то да сохранят они, по крайней мере, моих соотечественников от заблуждения, в которое был невольно введен этот замечательный писатель ложными документами, доставленными ему пристрастными и недобросовестными людьми» [157, с. 78]. Ответ, поначалу адресованный иностранцу, пригодился соотечественникам и был опубликован в 1840 г. в «Сыне отечества».

Эта ситуация может показаться случайной, но если отнестись к делу внимательнее, то окажется, что наибольшая часть конкретных воплощений текста «ответной рецепции» оказывалась именно в отечественной печати, а не в европейской, а значит — и адресовалась прежде всего российскому читателю. Потому ли, что российским авторам трудно было пробиться в зарубежные издания? Отчасти — потому, но это — техническая причина. Суть же явления глубже: текст «ответной рецепции», как правило, воспринимался авторами не только в качестве оригинального индивидуального творчества, но, в первую очередь, в качестве *общенационального* ответа европейскому обществу, а отдельные литераторы при этом выполняли должность всероссийского рупора. Дабы этот ответ был сформу-

лирован, он должен был подвергнуться общенациональному обсуждению в России — литература выполняла роль кафедры при всенародном обсуждении вопроса, как вести себя с иностранцами, что рассказывать им о России и как отвечать на их «сказания» о России.

Возьмем один из наиболее известных примеров. В сентябре 1831 г. П. А. Вяземский отметил в записной книжке: «Пушкин в стихах своих: “Клеветникам России” кажется им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, отвечать не будут на *вопросы*, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину» [111, с. 154]. Вроде бы все верно, но — только если предположить, что Пушкин действительно адресовал стихотворение именно «клеветникам России». Но не странно ли тогда, что Пушкин написал стихотворение по-русски? И неужели у Пушкина не было возможности продвинуть эти стихи в зарубежную печать, как это делал тот же Вяземский в пору Восточной войны?

А не правильнее ли будет предположить, что Пушкин и не собирался ввязываться в частную полемику с парижскими парламентариями, а решил внести собственную лепту в создание общественным мнением России ответа на агрессивные выпады со стороны Франции? Мы уже говорили, что Пушкин не мог игнорировать той «представительской» роли, которая была, по сути дела, поручена ему российской публикой. Понятно, что эта роль требовала от поэта подать свой голос в трудной для России ситуации. И он его подал — предложил отечественной публике возможный вариант ответа «клеветникам России». А публика была вольна решать, принимать ли этот вариант в качестве окончательного ответа, и тогда — предложить его французам или отвергнуть его и продолжить поиски аргументов и формы, в которую следовало бы облечь свою защитительную речь.

В скором времени в руках у Пушкина оказалось подражание его стихотворению, написанное на французском языке С. С. Уваровым [442, т. 14, с. 232–233]. Оно носило казенно-жесткий характер, и вряд ли Пушкин мог воспринять его в качестве перевода своего произведения. Да и вряд ли это подражание, как и позднейшие переводы стихотворения, достигли французских читателей [539, с. 21]. Тем не менее настоящего своего адресата стихотворение Пушкина нашло: в России оно имело широкий резонанс, вызвало множество откликов, осмыслений и переосмыс-

лений и, следовательно, сыграло свою роль в формировании общенационального ответа на европейские суждения о России<sup>1</sup>.

**Свой среди чужих, чужой среди своих.** Нет ничего удивительного, что адресат пушкинского стихотворения «Клеветникам России» оказывается спорным. Зачастую не только читатель, но и сам автор произведения может сомневаться, кому собственно оно адресовано. В этом отношении весьма драматично выглядит заграничное творчество А. И. Герцена. Оставшись за границей, Герцен почти вовсе потерял российскую аудиторию. Как помним, поначалу Герцен описывал свои европейские впечатления в письмах, которые публиковал в «Современнике» («Письма из “Avenue Marigny”»). Но дальнейшие циклы его европейских писем хотя и предназначались для российского читателя, но по цензурным соображениям не могли быть опубликованы в России. А потому Герцен начал «переадресовывать» свои произведения и публиковать их в Германии на немецком языке: «Письма из Франции и Италии», «С того берега». Имя Герцена становилось известным европейскому читателю. Мельвида Мейзенбург, которая в 1853–1856 гг. была воспитательницей герценовских дочерей, вспоминала, что впервые услышала о Герцене, именно когда прочла «С того берега» [301, с. 326]. Поскольку менялась аудитория, менялась и тематика творчества; как помним, Герцен решил посвятить себя пропаганде России в Европе. Уже в книгу «С того берега» он включил очерк «Россия», в 1851 г. опубликовал по-немецки и по-французски брошюру «О развитии революционных идей в России» и в том же году напечатал во Франции открытое письмо Жюлю Мишле «Русский народ и социализм».

Тем не менее Герцен не желал отказываться от российского читателя. Настолько не желал, что основал в 1853 г. в Лондоне Вольную русскую книгопечатню, рассчитанную на аудиторию соотечественников. Там была напечатана листовка с призывом «к братьям на Руси» поддержать начинание. «Время печатать по-русски вне России, кажется нам, пришло, — восклицал Герцен. — <...> Я первый снимаю с себя вериги чужого языка и снова принимаюсь

---

<sup>1</sup> Прибавим, что и по сей день текст этого стихотворения зачастую используется защитниками российского престижа как некий универсальный национальный «ответ» зарубежным оппонентам, а критиками российской политики рассматривается как наиболее свойственное русской ментальности выражение национальной гордости и в этом качестве вызывает их раздражение.

за родную речь. Охота говорить с чужими проходит. Мы им рассказали как могли о России и мире славянском; что можно было сделать — сделано» [127, т. 7, с. 5]. Типография печатала листовки и отдельные брошюры. В 1854 г. здесь под заглавием «Тюрьма и ссылка» была опубликована часть автобиографических записок Герцена. Однако читатель обнаруживался не там, где искал его Герцен. «Я не рассчитывал ни на читателей, ни на внимание вне России, — утверждал Герцен впоследствии. — Успех этой книги превзошел все ожидания: “Revue des Deux Mondes”, этот целомудреннейший и чопорнейший журнал, поместил полкниги во французском переводе. Умный ученый “The Athenaeum” дал отрывки по-английски, на немецком вышла вся книга <...>» [127, т. 5, с. 641]. Российский читатель — безмолвствовал.

«Пришла война, — писал Герцен в № 1 “Колокола”. — И в то время, когда Европа обратила жадное внимание на все русское и раскупала целые издания моих французских брошюр, и перевод моих “Записок” на английском и немецком языках быстро расходился, — русских книг не было продано и десяти экземпляров. Они грудами валялись в типографии или рассылались на наш счет, и притом даром» [127, т. 7, с. 87]. Было от чего впасть в уныние. «Работать, не видя близкого плода, тяжело, — вспоминал Герцен в “Былом и думах”. — Печатаемая <...> лист за листом и сыпая груды отпечатанных брошюр и книг в подвалы Трюбнера, я почти не имел возможности переслать что-нибудь за русскую границу. Не продолжать я не мог: русский станок был для меня делом жизни <...>; с ним я жил в русской атмосфере, с ним был готов и вооружен <...>, и не было *ни одного* слова сочувствия из дома» [127, т. 6, с. 295].

Диалог с европейским читателем Герцена уже не удовлетворял. Его «опыты ознакомить Запад с неофициальной Россией» не приносили желаемого результата. «Целых семь лет, — подытоживал позднее Герцен, — *учили* мы, насколько могли, где могли — России. <...> Нас слушали рассеянно до Крымской войны, с ненавистью — во время, без понимания — прежде и после» [127, т. 8, с. 297]. Герцен продолжал пробиваться к читателю-соотечественнику. Он не менял своего стратегического замысла — писать в Европе о России для русских, — но в тактику следовало вносить коррективы, поскольку стало понятным, что ориентироваться на европейского читателя волей-неволей придется. А потому объявление о начале издания «Полярной звезды» (1855) Гер-

цен публиковал и по-русски, и по-французски. Точно так же и в дальнейшем многие свои работы Герцен публиковал одновременно — на русском и на каком-либо из европейских языков.

В № 1 «Полярной звезды» Герцен поместил обращение к своим потенциальным читателям («К нашим»), где призывал соотечественников участвовать в новом издании. «Мы готовы ждать, долго ждать <...>, — писал он, — но наконец без статей из России “Полярная звезда” не будет иметь достаточной причины существования. <...> Если вам теперь нечего сказать или не хочется говорить <...>, тогда мы с горестью должны отказаться от нашей мысли и вместо *русского обозрения* издавать *обозрение о России*. Тогда “Полярная звезда” будет выходить на французском языке и из органа пропаганды дома сделается органом союза и сближения. <...> Издавая наше обозрение на французском языке, мы уверены в успехе <...>. Общественное мнение, перед раздражением которого мы должны были на время умолкнуть в начале 1854 г., совсем не то. <...> Тем не менее тяжел будет для нас удар вашего молчания» [127, т. 7, с. 47–48]. Однако, теперь, после смерти Николая, после поражения в Крымской войне издания Герцена, наконец, стали проникать в Россию, у Герцена появились российские корреспонденты.

Успех «Полярной звезды» подтолкнул Герцена к изданию (с 1857 г.) «Колокола», который посвящался «исключительно русским интересам» [127, т. 7, с. 85]. Популярность Герцена в России росла стремительно и превращалась в преклонение перед ним. «Трудно было помнить, — вспоминал В. Т. Кельсиев о конце 1850-х в начале 1860-х гг., — всех, приезжавших на поклонение, так много их было. Они мелькали один за другим, входили с трепетом благоговения, слушали, врезывали себе в память каждое слово Герцена <...>, благодарили за пользу, принесенную России <...>. Кого только не перебывало при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, старики и старухи, бывали студенты <...>» [228, с. 258]. Теперь Герцен отчетливо ощущал, что его труд приносит плоды. От приезжавших в Лондон русских Герцен узнавал, что «Колокол» лежит на столе у председателя Редакционной комиссии Я. И. Ростовцева «для справок по крестьянскому вопросу». «В дворце, — сообщали Герцену, — “Колокол” получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело “стрелка Кочубея”, подстрелившего своего управляющего» [127, т. 6, с. 297].

Итак, Герцену удалось прорваться к своему, отечественному, читателю. Но мог ли он вовсе забыть о европейской публике, среди которой уже пользовался значительным авторитетом? С одной стороны, из России порою слышались голоса в поддержку его европейских работ о России. Так, сохранилось письмо неизвестной русской корреспондентки Герцена, которая высоко отзывалась о его французскоязычной работе «Русский народ и социализм». «Вы благородно возвысили свой голос от имени обездоленного ребенка, поруганного несовершеннолетнего, — писала она. — Да, милостивый государь, как вы верно говорите, Россия — это младшая сестра всех народов Европы» [274, с. 666]. С другой стороны, европейцы сами интересовались работами Герцена, изначально предназначенными для российского читателя. Например, в 1861 г. к Герцену обратился участник революции 1848 г. врач Симон Бернар и убеждал его в необходимости издавать в Лондоне газету, где помещались бы статьи из «Колокола» в переводе на французский язык. Причем Бернар сам брался отыскать и издателей, и переводчиков, и распространителей. Он умер, не успев исполнить замысла, но идея не была ложной, поскольку подобное издание — «Cloche<sup>2</sup>» — начало выходить в 1862 г. в Брюсселе под редакцией Л. Фонтена [110, с. 351]. Оказывалось так, что Герцен постоянно должен был ориентироваться на двойную аудиторию: российскую и европейскую.

Это не могло не сказаться на его произведениях и в первую очередь — на «Былом и думах». В предисловии к англоязычному изданию книги «Тюрьма и ссылка» (1855) Герцен писал: «В настоящее время нет такой страны, в которой мемуары были бы более полезны, чем в России. Мы — благодаря цензуре — очень мало привыкли к гласности. Она пугает, удивляет и оскорбляет нас. Пора, наконец, имперским комедиантам из петербургской полиции узнать, что рано или поздно, но об их действиях, тайну которых хорошо хранят тюрьмы, кандалы и могилы, станет всем известно и их позорные деяния будут разобраны перед всем миром» [127, т. 4, с. 401]. Весьма понятно желание Герцена во всеуслышание сказать правду о России по-русски — в ту пору это мало кому удавалось. Это могло воодушевить соотечественников, подвигнуть их на сопротивление. Сам Герцен когда-то в 1845 г.,

---

<sup>2</sup> Колокол — франц.

прочитав в парижской газете «La Riforme» статью М. А. Бакунина, предрекавшего скорый переворот в России, записал в дневнике: «Вот язык свободного человека, он дик нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегории <...>, и нас удивляет свободная речь русского — так, как удивляет свет сидевшего в темной конуре» [127, т. 9, с. 230]. Теперь Герцен сам стал тем русским, который мог свободно говорить правду. Но не же он не сознавать, что эта правда будет иметь двойной эффект, если она прозвучит еще и на европейских языках. Внимание европейской публики к сочинениям Герцена неизмеримо увеличивало их вес, пугало российский официоз и вызывало уважение читателя. А потому Герцен, ориентируясь в первую очередь на российскую аудиторию, вовсе не избегал аудитории европейской. Но чтобы европейцы «поняли» его рассказ о России, следовало говорить их языком, использовать «европейский код».

И Герцен активно внедрял в текст «Былого и дум» привычные для европейцев формулы, например, кюстиновское определение «Россия — империя фасадов». Вот, скажем, такой пассаж: «В 1835 году святейший синод счел нужным <...> обратить черемисов-язычников в православие. Это обращение — тип всех великих улучшений, делаемых русским правительством, фасад, декорация, *blague*, ложь, пышный отчет <...>». Или вот еще: «Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, что простой человек, попавший под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства» [127, т. 4, с. 266, 192]. Подобные оценки и выражения мы найдем во множестве в европейских книгах о России.

Но, думается, Герцен использовал эти формулы не только для того, чтобы его поняли иностранцы. Думается, он пытался приучить к ним своих соотечественников, он пытался создать такой текст о России, который был бы понятен в равной степени и в России, и в Европе, — универсальный текст. И, судя по европейскому и российскому интересу к его произведениям, Герцену вполне удалось овладеть этим двойным языком и в конечном итоге стать не только русским, но и европейским писателем. И вполне закономерно утверждение исследователя А. И. Володина о том, что творчество Герцена было «во многом европейское и по своему содержанию, а в определенной мере также и по выражению» [105, с. 10].

Но вернемся к изданию «Колокола», предназначенного исключительно для России. После Крымской войны российское общество

жадно искало разоблачений российских порядков, в этом отношении «Колокол» не имел себе равных и производил ошеломляющий эффект. Однако со временем к разоблачениям стали привыкать, доступ «Колокола» в Россию все строже пресекался властями, а кроме того, выросло молодое поколение русской и российско-эмигрантской читательской среды, которому герценовский подход к делу казался уже устаревшим и недейственным. Популярность «Колокола» стала падать. Герцен пытался оживить издание, перенеся его в Женеву, но в 1867 г. вынужден был его прекратить.

Легко представить, насколько сокрушительным был этот моральный удар. Однако Герцен, остро переживая потерю российского читателя, решил снова вернуться к тому, с чего некогда начинал: к защите русского национального престижа в Европе. В 1868 г. он открыл издание франкоязычного «Kolokol»'а. Это не было отчаянной и бессмысленной выходкой, вызванной безнадежным состоянием. Отношение европейской публицистики к России снова стало настолько остро-негативным, что могло больно ранить патриотические чувства и нуждалось в опровержениях.

«Kolokol» имел русскоязычное приложение, так что в № 1 Герцен имел возможность по-русски обратиться к соотечественникам. «“Колокол” <...> будет выходить на французском языке, — сообщал он. — Нам кажется, что на сию минуту полезнее говорить о России, чем говорить с нею. <...> Общий вывод вовсе не ведет к тому, чтобы сложить руки, но мы сомневаемся, чтобы наше русское издание было *теперь* полезнее французского. <...> Ожесточение против нас, которое улеглось было после Крымской войны, снова усиливается и растет с польского дела не по дням, а по часам. Вместе с ненавистью — страшная смутность понятий. <...> Что касается до нашей русской речи, мы сказали почти все, что имели сказать, и слова наши не пропали бесплодно. <...> Одна из наших великих наград состоит именно в том, *что мы меньше нужны*» [127, т. 8, с. 352]. По сути, это было прощанием с отечественным читателем.

И снова начиналась борьба. «Kolokol» открывался большой и острой статьей «Пролегомена». Здесь Герцен сообщал европейскому читателю, что причиной появления «Kolokol»'а послужила «та изумительная настойчивость, с какою не желают видеть в России ничего, кроме ее отрицательных сторон, — настойчивость, с какою в одних и тех же выражениях осыпают оскорблениями и предают проклятию прогресс и реакцию, будущее и настоящее, то, что разлагается, и то, что нарождается.



Единственные русские публицисты на Западе, мы не хотим взять на себя ответственность за молчание» [127, т. 8, с. 318].

Начав новое дело, Герцен уже не уговаривал европейцев, как прежде, уважать и любить Россию. Он резко бросал вызов. «Нас изгоняют из Европы, как господь бог изгнал из рая Адама, — восклицал он. — Но твердо ли вы уверены, что мы принимаем Европу за рай и титул европейца — за почетный титул? Думая так, иногда серьезно ошибаются. Мы не краснеем оттого, что мы из Азии <...>. Мы довлеем сами себе, мы — *часть мира между Америкой и Европой*, и этого с нас довольно» [127, т. 8, с. 322]. «Мы видели вас слишком близко, и мы вас знаем, — продолжал Герцен, — мы привыкли любить и знать вас; вы нас не знаете и вы нас отрицаете. Мы протестуем.

Часовые, затерянные на границе двух миров, <...> мы не можем молчать и решаемся <...> с высоты своей сторожевой вышки крикнуть: “Берегитесь ошибки!”» [127, т. 8, с. 323].

Европейский читатель, однако, не собирался прислушиваться ни к протестам, ни к предостережениям. И. С. Тургенев сразу предугадал эту реакцию и, прочитав № 1 французского «Колокола», писал Герцену: «Верь мне или не верь, как угодно, но для так называемого *воздействия* на европейскую публику твои статьи бесполезны» [127, т. 8, с. 626]. Герцен не хотел этому верить, он погружался в борьбу, работал... Но результатов борьбы и работы видно не было... В том же 1868 г. французский «Колокол» пришлось прекратить. В последнем номере Герцен даже не пожелал обращаться к европейскому читателю с разъяснением причин такого шага. Вместо этого он поместил «Письмо Н. Огареву», которое без всяких пояснений — и подводит итог герценовским поискам, и характеризует силу его природы. «Год тому назад, — писал Герцен, — я считал, что французское издание может заменить русский «Колокол»; это была ошибка. Истинным нашим призванием было звать наших живых и отпевать мертвых, а не рассказывать нашим соседям историю наших могил и колыбелей.

Тем более, что они не слишком этим интересуются.

<...> Голос русских, вообще говоря, не слишком уместен на семейных концертах Западе. Мы смущаем их, мы им неприятны своей неуклюжей правдивостью, нам присущи бестактность варваров и логика неумолимая и дерзкая. Мы так долго молчали, порабощенные грубой силой, что начинаем говорить лишнее, едва *вообразим* себя свободными. <...> Это возмущает, и они отво-

рачиваются от наших прямых речей» [127, т. 8, с. 367]. Так Герцен оставлял свою европейскую публику — даже не обратившись к ней на прощание, говоря о ней как об отсутствующем, каясь перед другом так откровенно, будто оказался с ним наедине, и убедившись, что жизненное призвание заключалось в том, чтобы говорить *со своими*.

Впрочем, для нас *теперь* ясно, что Герцен, пытаясь непосредственно влиять на европейские представления о России, ставил перед собой сверхзадачу, конечно, не разрешимую до конца индивидуальными усилиями. Подобные попытки предпринимали, как помним, и Хомяков, и Вяземский, и Тютчев, и многие другие российские литераторы. Следует отдать должное Герцену, ему на этом поприще удалось добиться наиболее заметных результатов. Однако вернемся к тому, что зачастую текст «ответной рецепции» адресовался не напрямую европейским оппонентам, а российским читателям и подвергался внутрилитературному осмыслению и обсуждению. Формы этого внутрилитературного освоения текста «ответной рецепции» менялись так же, как менялись российское общество, русская литература и русское самосознание. Начнем с начала.

**Поиски образца.** 1789 год. Молодой писатель и представитель юного российского просвещения Н. М. Карамзин отправился в заграничное путешествие. Объехав за полтора года почти всю Европу, в сентябре 1790 г. он вернулся домой. Русские, конечно, и прежде наведывались в Европу, но вот составить подробное литературное описание своего путешествия пока никто не пробовал. Карамзин, напав на эту мысль, должен был чувствовать себя первооткрывателем. Уже в 1791 г. в открытом Карамзиным «Московском журнале» начали публиковаться его «Письма русского путешественника». Однако работа над полным текстом «Писем...» затянулась на десятилетие, и только в 1801 г. они вышли отдельным изданием.

Ю. М. Лотман отмечает, что «Письма русского путешественника» следует рассматривать не как «собрание реальных писем», а как «литературную имитацию такого собрания», и полагает, что «реальное путешествие Карамзина и по маршруту, и по характеру встреч и интересов существенно отличалось от литературного “vojaж” “русского путешественника”» [298, с. 624]. Это вполне объяснимо: создать путеводитель по Европе или фотографическую копию ее — задача не актуальная для эпохи Карамзина.

Путеводитель нужен тому, кто ездит по Европе; точное описание отдельных достопримечательностей — тому, кто собирается их увидеть. Что же привлечет в «Письмах...» того, кто в Европе не бывал и в ближайшее время туда не собирается?

Карамзин чувствовал, что его «Письма...» открывают перед российским читателем целый мир — новый мир Европы и потому каждая описанная в них деталь должна претендовать на обобщающее значение. А это требует подбора излагаемого материала.

Обратим внимание и на такой момент: окно в Европу было прорублено уже давно, но вот правила поведения в европейском мире для русского человека до сих пор были не вполне известны. Между тем литература в ту эпоху играла роль своего рода учебника поведенческих норм, да и в понимании Карамзина должна была выполнять функцию воспитательную. А потому герой «Писем...» никак не мог быть человеком реальным, со своими недостатками, слабостями, глупыми ошибками и пр., он должен был являть собою некий образец для всех будущих и вполне реальных русских путешественников. Карамзин не просто описывал путешествие, он создавал программу и канон поведения русского человека в Европе. Нас в этом русле интересует, как же, по мнению Карамзина, русский человек должен был реагировать на европейское видение России.

Едва русский путешественник переехал границу и оказался в Курляндии, как ему приходится столкнуться с иностранными суждениями о России. Два немца-попутчика, пишет Карамзин, «легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ». Как же должен поступить русский путешественник? Наверное, так же, как герой «Писем...»: «Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? “Нет”, — отвечали они. “А когда так, государи мои, — сказал я, — то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе”. Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками» [226, т. 1, с. 65]. После этого путешественник начинает весьма внимательно следить за отзывами иностранцев.

Молодой лекарь-француз сообщает ему, что едет в Москву, надеясь найти там «умных людей более, нежели где-нибудь» [226, т. 1, с. 76]. Прусский капитан от «доброго сердца хвалил храбрость

наших солдат, которые, по его мнению, *едва ли хуже прусских*» [226, т. 1, с. 78]. Пока все просто — сиди и слушай. Но вот в экипаж подсаживается немка, и «услышав, что я русский, — сообщает Карамзин, — подняла руки к небу и закричала: “Ах, злодеи! Вы губите нашего бедного короля!”». Что же можно предпринять в подобной ситуации? Только то, что предпринял русский путешественник: «Офицеры смеялись, и я смеялся, хотя не совсем от доброго сердца» [226, т. 1, с. 80]. Едва путешественник стал забывать об этой реплике, как ему пришлось выслушать следующий диалог: «“Что, будет у нас война, господа офицеры?” — спросил у моих товарищей старик, трактирщик в Керлине, — рассказывает Карамзин. — “Не думаю”, — ответил капитан. “Дай бог, чтобы и не было! — сказал трактирщик. — Я боюсь не австрийских гусаров, а русских казаков. О! Что это за люди!” — “А почему ты их знаешь?” — спросил капитан. “Почему? Разве они не были в Керлине? Ничто не уйдет от их пики. К тому же у них такие страшные лица, что меня по коже продирает, когда вообразю их!” — “Да вот русский казак!” — сказал капитан, указав на меня. “Русский казак!” — закричал трактирщик и ударился затылком в стену. Мы все смеялись, а трактирщик захохотал. “За эту шутку вы заплатите мне дороже, господа!”» [226, т. 1, с. 85].

Но эти дорожные беседы — не то, за чем русский путешественник ехал в Европу. А потому не стоит много и обсуждать их. Путешественник продемонстрировал попутчикам, что русские говорят на иностранных языках, что лица у них вовсе не такие уж страшные... И довольноно! Русский путешественник ехал в Европу в поисках просвещения. И важнейшая задача его — продемонстрировать европейским знаменитостям успехи российских наук и художеств.

Вот ужинает он в Лейпциге с профессорами университета и — рассказывает о российской словесности. Профессора «очень удивились, — пишет Карамзин, — слыша от меня, что десять песен «Мессиады» переведены на русский язык. “Я не думал бы, — сказал молодой профессор поэзии, — чтобы в вашем языке можно было найти выражения для клопштоковых идей”. — “Еще то скажу вам, — промолвил я, — что перевод верен и ясен”. — В доказательство, что наш язык не противен ушам, читал я им русские стихи разных мер, и они чувствовали их *определенную* гармонию» [226, т. 1, с. 128]. Затем русский путешественник общался с Гердером, и тот «с отменною скромностию» расспра-

шивал его «о политическом состоянии России» [226, т. 1, с. 136], а Виланд в ходе беседы похвалил его за то, что он не стремится подражать французам [226, т. 1, с. 139]. Словом, русский путешественник Карамзина оказывался идеальным представителем российского просвещения в Европе. Впрочем, не единственным, ибо упоминается в «Письмах...», например, и ученый-натуралист граф Г. К. Разумовский, который поселился в Лозанне и, по словам Карамзина, «живет в тишине, трудится над умножением знаний человеческих в царствах природы и делает честь своему отечеству. Сочинения его все на французском языке» [226, т. 1, с. 225]. Вот, в представлении Карамзина, идеальное существование российского ученого: трудиться на общечеловеческое благо, подобно европейским ученым, и — «делать честь своему отечеству».

Однако путешественник Карамзина — человек не только просвещенный, но еще и светский, а потому, по мере сил, и в высшем обществе Европы старается «делать честь своему отечеству». Вот он общается с «одною из разумнейших женщин Женевской республики» г-жой Конклер, и она расспрашивает его о московских дамах: «Вопрос: “Хороши ли они?” Ответ: “Прекрасны”. Вопрос: “Умны ли они?” Ответ: “Беспримерно”. Вопрос: “Сочиняют ли они стихи?” Ответ: “Молитвы”. — “<...> Вы шутите!” — “Извините, сударыня; я говорю чистую правду”. — “Да разве они очень много грешат?” — “Нет, сударыня; они молятся о том, чтобы не грешить”. — “А! Это другое дело!”» [226, т. 1, с. 233]. Такой вот образец русской галантности; и пример — не единственный.

Русскому путешественнику в европейском обществе постоянно приходится отвечать на вопросы касательно России. Что и говорить — вопросы не слишком разнообразны. Так, в лионском театре двое французов интересуются, весело ли живут в России, хороши ли там женщины, и сожалеют, что в России до того холодно, что «кучера отмораживают там бороды с усами» [226, т. 1, с. 280]. На светском обеде в Париже некий «умный и важный» англичанин расспрашивает о российском климате и образе жизни [226, т. 1, с. 311]. Заметим, что подобный набор вопросов и замечаний о России оставался стандартным долгие годы. Во всяком случае, г-жа Курдокова, героиня Мятлева, отвечала на те же вопросы, что и путешественник Карамзина. Вот, например, ее «сентенция» о светском обеде во Франкфурте:

*<...> Не знают,  
Говорить уж что, зевают!  
Раз десяток, дье мерси,  
“Вы давно ли из Рюси?”  
Чай, там холодно зимою? —  
Говорящие со мною  
повторили мне. “О нон, —  
Отвечала я, — пардон!”  
— Чай, у вас есть де медведи?  
Де бобры?” — мои соседи  
Еще сделали вопрос.  
Я сказала: “Вуй, тре бо-с”<sup>3</sup> [324, с. 244].*

Но г-жа Курдюкова могла раздражаться однообразием вопросов европейской публики, а русский путешественник Карамзина не должен был проявлять недовольства — его задача терпеливо и галантно рассказывать европейцам о России. Это нетрудно, если общаешься с прекрасной незнакомкой, с которой путешественник встречается в опере и которую убеждает, что в России «есть весна, цветы и прекрасные женщины» [226, т. 1, с. 361]. Но это может наскучить, если повторяется изо дня в день и в любой компании. И русский путешественник, наконец, не выдерживает и рассуждает о своем положении в парижском обществе так: «Молчишь, зеваешь или скажешь слова два на вопросы: “Как сильны бывают морозы в Петербурге? Сколько месяцев катаются у нас в санях? Ездите ли вы на оленях зимою?” Это невесело <...>» [226, т. 1, с. 369]. Невесело, но — необходимо, поскольку зачастую подобные вопросы не вполне праздны. Вот, скажем, некая графиня Д\* собирается поселиться в России, в связи с чем и предлагает русскому путешественнику такие вопросы: «Можно ли человеку с южным здоровьем сносить жестокость вашего климата? Какое время года бывает у вас приятно? Какие приятности имеет ваша общественная жизнь? Любят ли иностранцев в России? <...> Уважаете ли вы женщин?» Путешественнику приходится весьма подробно описать свое отечество, и можно догадаться, что в его изображении Россия выглядела весьма притягательно и поэтично. И графиня Д\* узнавала, что «в России терпят от холода менее, нежели в Провансе», что «нигде весна не имеет столько прелестей,

---

<sup>3</sup> Да, очень красивые.

как в России», что «гостеприимство есть добродетель русских» и что в России «женщина на троне» [226, т. 1, с. 388–390] и т. д. и т. п. Так русский путешественник, в изображении Карамзина, вливался в европейское общество, одновременно «делал честь своему отечеству» и, добавим, служил образцом для реальных русских путешественников.

Возможно, конечно, что назидание зачастую оказывалось тщетным, но все же следует учитывать несомненную популярность «Писем русского путешественника». Почти всякий образованный русский, путешествуя по Европе, чувствовал, что повторяет путь, некогда проделанный Карамзиным, или, вернее, «русским путешественником» Карамзина. Когда в 1855 г. по Европе путешествовал Вяземский, то он, скажем, сожалел, что «Не восходил на верх Салева / По следам Карамзина» [114, с. 343]. А в 1858 г. он же признавался, проезжая через Лозанну: «Когда бываю за границую, беру всегда с собою Письма Карамзина и перечитываю многие из них с особенным наслаждением. Люблю отыскивать, угадывать следы его <...>. Россия училась читать по этим *Письмам*» [112, т. 9, с. 177]. Думается, училась — не только читать, но и вести себя в общении с европейцами, формировать свой зарубежный имидж. «Он “Письмами русского путешественника” научил нас описывать легко и приятно наши странствия» [84, с. 671], — писал о Карамзине Булгарин. И к этому можно было бы прибавить, что Карамзин учил так же — «легко и приятно» поддерживать европейский престиж российского просвещения. Впрочем, русский путешественник Карамзина был не единственным литературным образцом человека, внушающего Европе уважение к России.

В 1816 г. Батюшков в ходе переписки с Н. И. Гнедичем обсуждал план издания своих сочинений. В сентябре он сообщил Гнедичу, что в раздел прозы намерен включить «пиесу» «Вечер у Антиоха Кантемира», «то есть разговор его с Монтескье, — уточнял Батюшков, — где я последнего немного поцарапал» [50, т. 2, с. 400]. 7 ноября Батюшков переслал Гнедичу рукопись этой «пиесы» с такими словами: «<...> Посылаю тебе Кантемира. Прими его в объятия твои, еще сырого, из-под пера моего; хотя и несколько раз я его переписывал, переправлял, но все не доволен слогом. План и мысли довольно хороши. Все оригинально, и у нас не было ничего в этом роде. Монтескье разговор — мозаика из его сочинений. Какой бред! Вот какво философствовать о Севере, не зная его» [50, т. 2, с. 411]. Из такого предуведомления ясно,

что Батюшков решил оспорить «философствования» Монтескье о Севере, то есть о России, но причем же здесь Кантемир, да еще — в самом заглавии?

Дело объясняется просто: Батюшков опровергал суждения Монтескье о России не от своего лица, а «поручал» это Кантемиру. Почему именно Кантемиру? Разумеется, потому, что Кантемир действительно мог беседовать с Монтескье на подобную тему, поскольку был с ним близок. Но если сама ситуация спора условна, то почему бы не столкнуть Монтескье со столь же условным русским собеседником? А потому, что именно Кантемир более любого другого русского той поры мог претендовать на роль представителя российской культуры во Франции, поскольку еще в 1749 г. в Лондоне его «Сатиры» вышли в переводе на французский язык. И Батюшков в самом начале «писеы» ставит в заслугу Кантемиру то, что, находясь в Париже, где «несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир... писал русские стихи! И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека» [50, т. 1, с. 50]. Кантемир трудился над тем, чтобы возвести язык российского просвещения на европейский уровень, кому же, как не ему, вступать в спор с представителем французского просвещения Монтескье?

Но обратимся к самому спору. Итак, зашли как-то парижским вечером Монтескье и приятель его, аббат В., в гости к российскому посланнику Кантемиру. Застали его за сочинением русских стихов, причем Монтескье тут же выразил недоумение, как можно писать и мыслить «на языке необразованном»? Скажи такую фразу в современном мире и — можно не сомневаться, что она будет расценена как факт национального унижения. Однако собеседник Монтескье смотрел на вещи трезво, а потому согласился, что «русский язык в младенчестве», но способен к развитию, а он сам, Кантемир, помогая этому развитию, приспособливает к русскому языку произведения Фонтенеля и Монтескье [50, т. 1, с. 52]. На этом бы и остановиться, но Монтескье, напав на одну из своих заветных мыслей, начал утверждать, что в России климат «суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений, образ правления почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство» замедляют «ход ума и просвещения» [50, т. 1, с. 54]. Кантемир пробовал возражать, заявив, что ныне «Россия пробудилась от глу-



бокого сна», но натолкнулся на целый поток «философствований» Монтескье о Севере. Из них следовало, что русскому правительству вряд ли удастся «вдохнуть» в свой народ «вкус к изящному, к наукам отвлеченным, умозрительным», ибо «в землях холодных наружная кожа столь сильно сжата воздухом, что нервы <...> лишены жизни, и редко, очень редко сообщают слабые ощущения своему мозгу» [50, т. 1, с. 55]. Вот и поспорь здесь!

Но Кантемир снова возражал, что суровость климата искупается в России «образом правления», что сам климат в России разнообразен и что «грубые дети Севера умеют чувствовать и изъясняться <...> живо и приятно» [50, т. 1, с. 57–59]. Казалось бы, этому трудно противоречить, но Монтескье находит еще один аргумент: сатирическое искусство Кантемира, по его мнению, не может иметь смысла в России, где «общество <...> должно представлять ужасный хаос: грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиатской, с некоторыми искрами просвещения европейского» [50, т. 1, с. 60]. На это Кантемир терпеливо продолжал разъяснять, что его «слабые опыты» в литературе уже оценены соотечественниками, что эти опыты имеют большее значение для России, нежели пребывание Кантемира при французском дворе [50, т. 1, с. 61]. В конце концов терпение и выдержанность Кантемира оказались вознаграждены: Монтескье не только «отчасти» согласился с его рассуждениями, но пожелал видеть его сатиры на французском языке [50, т. 1, с. 62]. Чего же более? Для середины XVIII в. такой успех, кажется, мог считаться большой пропагандистской победой, поскольку мнения Монтескье имели всеевропейский авторитет.

Но напомним, что весь этот спор — художественная условность. И условность эта, думается, создавалась с той целью, чтобы показать российскому читателю (которому, кстати, были вовсе небезызвестны «философствования» Монтескье), каким образом следует опровергать подобные суждения иностранцев о России. Батюшков реконструировал популярный набор французских предрассудков и предложил собственный набор опровержений. А заодно показал, с какими выдержкой, достоинством и беспристрастием подобные опровержения должны преподноситься на суд иностранцам.

«Пиеса» эта создавалась в эпоху, когда европейский престиж России неуклонно шел в гору, и в условиях этого процесса россий-

ский читатель, несомненно, искал эталоны поведенческих норм, способных поддерживать это развитие национального имиджа. Пройдет немного лет, и подобные «образцы» поведения потеряют актуальность. Многим станет ясно, что в царствование Николая Павловича вовсе недостаточно рассказывать европейцам об успехах русского языка и просвещения, чтобы возродить российский авторитет. В новых условиях, дабы хоть отчасти вернуть европейцам уважение к русскому народу, следовало проповедовать ту истину, что российское общество не только не поддерживает деспотизм собственных властей, но с незапамятных времен противостоит ему. Но мог ли «образец» такого рода воплотиться в русской литературе той поры? Ясно, что нет. Зато он воплотился в реальных личностях, из которых до сей поры наиболее образцовой в этом отношении остается личность А. И. Герцена.

Однако в русской литературе осуществлялись-таки попытки создавать некие поведенческие эталоны, которые походили на устаревшие к тому времени образцы и не противоречили официальной позиции. Какой они могли иметь эффект, станет ясно, если обратимся к конкретному примеру.

Н. И. Греч побывал в 1837 г. во Франции и, кажется, почувствовав себя в роли Карамзина, издал «Путевые письма...»<sup>4</sup>. Причем в виде образцового русского изобразил не абстрактного «русского путешественника», а собственную персону. Читатель должен был увидеть, как следует поддерживать российский престиж в Европе. Вот, скажем, такой эпизод. «Виктор Гюго, — пишет Греч, — расспрашивал меня однажды о том, что делает наше правительство в пользу просвещения. Имея с собою отчет Министерства народного просвещения за прошлый год, я сообщил ему некоторые о том сведения, исчислил новые заведения и употребленные на то суммы, описал труды археологической экспедиции и сказал, что наше правительство издает ныне полное собрание материалов для Русской истории». Ну, просто с Пушкиным на

---

<sup>4</sup> По этому поводу весьма остроумно наблюдение Герцена («Современник», 1847 г.): «С легкой руки Фонвизина, и особенно с карамзинских “Писем русского путешественника”, у нас все рассказали о Европе в замечательных письмах русского офицера, сухопутного офицера, морского офицера, обер-офицера и унтер-офицера, наконец, гражданские деловые письма его превосходительства Н. И. Греча и приходно-расходный дневник М. П. Погодина договорили последнее слово» [127, т. 3, с. 16].

дружеской ноге! «Ну, что, брат Гюго», — как бы говорит Греч. А Гюго «с унынием» ему и отвечал: «Как вы счастливы! <...> У вас правительство может делать в пользу наук и просвещения все, что хочешь, а наши невежды-депутаты обрезают все издержки по этой части» [145, ч. 1, с. 231]. Куда уж здесь тягаться «русскому путешественнику» Карамзина; разве держал он при себе за границей (так, на всякий случай) последний отчет Министерства народного просвещения? Можно представить, насколько занимательной для Гюго была эта беседа с «исчислением» российских заведений, если, конечно, эта беседа вообще была.

А вот Греч встречается с Талейраном и герцогиней Дино, которые незамедлительно пожелали «знать подробности о нашей царской фамилии». Греч не передал деталей этой беседы, возможно, потому что сам слабо их представлял, но зато описал свои ощущения. «Счастлив всякий русский путешественник, — восклицал он в «Письмах...», — он может говорить в чужих краях о своем государе, о его семействе, о его подвигах всенародных и о частной его жизни с откровенностью, с благодарною гордостью и с искренним сердечным убеждением, которое невольно сообщается слушателям!» [145, ч. 2, с. 69] Вот как положено думать и говорить истинному русскому путешественнику!

А если иностранец пустится задавать провокационные вопросы? Есть у Греча пример и на этот случай. Спрашивает его Сен-Бёв о жесткости русской цензуры, а Греч ему и отвечает: «Цензура <...> имела у нас в России действие благодетельное: она дала нашей литературе, всем нашим произведениям характер благородства, приличия, скромности, могу сказать, целомудрия. От этого, может быть, страждет естественность и близкое подражание натуре, но выигрывают нравственность, честь и достоинство словесности» [145, ч. 2, с. 128]. Ясно, что после такой тирады иностранцу нечем крыть.

Однако, чтобы ораторские усилия имели абсолютный результат, не стоит ограничиваться случайными беседами. Вовсе не мешает нанести специальный визит — пускай к тому же Гюго. «Предметом бесед наших, — пишет Греч о своем посещении Виктора Гюго, — была Россия, о которой французы, и самые умные, самые благонамеренные имеют пресмешные понятия. Я объяснил ему форму нашего правления, необходимость единодержавия, святость царской власти и любовь к ней русского народа; описал многие наши учреждения, исчислил все, что делает пра-

вительство для возвышения благосостояния и просвещения народа; изобразил ему нашего государя так, как он изображен в благородной душе каждого из его подданных» [145, ч. 2, с. 130–131]. В результате такого верноподданнического натиска, напоминающего по стилю отчет в III Отделение, Гюго говорил Варену: «Г. Г. меня совершенно обратил в свою веру: теперь я стал почти русским» [145, ч. 2, с. 131]. Но это — если верить самому Гречу. А кто же в России верил Гречу? Может быть, тот — кто никогда не бывал в Европе.

Назидательный тон и навязчивые нравоучения могли тронуть читателя XVIII – самого начала XIX в. Позднее они уже выглядели смешными и мало применимыми к жизни. Тем не менее некоторые авторы были вовсе не прочь преподносить читателям наставления и предлагать такие «образцы», которым, по убеждению или капризу этих авторов, должны были следовать читатели. Греч в качестве «образца», как видим, изобразил собственную персону, его друг Булгарин оказался скромнее и «учил» правилам обхождения с иностранцами через подставных лиц — своих героев. Открываем «нравоописательный-исторический» роман «Петр Иванович Выжигин». Накануне вторжения Наполеона в столице прошел роскошный бал с участием французского посланника. Товарищ Выжигина, гвардейский офицер, рассказывает, как столкнулся на балу с этим французом: «<...> Этот господин дипломат хвалит Россию, но так хвалит, что я заплатил бы ему, чтоб он бранил ее. — Он вообразил себе, что сделает нам величайшую честь, если уподобит нас французам и объявит всенародно, что в нас нет ничего русского, отечественного, но все заимствовано из Парижа». Понятное дело, молодой офицер решился переубедить иностранца и вот каким способом: «Я стал доказывать дипломату, — рассказывал офицер, — что он не знает России и весьма ошибается, если судит об ней по нескольким семействам <...>. Я возразил, что Россия не на паркетe, не в палатах, а в полях, в селах, в храмах божьих <...>. Наконец, я воспламенился и сказал ему, что русский народ уважает иностранцев, принимает их дружественно, но презирает выродившихся своих братьев, которые отреклись от России, от природного языка <...>». Офицер продолжал и дальше в том же духе, и дело чуть было не закончилось дуэлью.

Булгарин решил слегка пожурить не в меру пылкого патриота словами Петра Выжигина. «Ты напрасно тратишь слова, братец! — наставительно заметил Выжигин. — Тебе надлежало возбудить в

иностранце любопытство узнать нас ближе и не гневить его без пользы <...>». Сказал, как отрезал! Сразу видно, что герой положительный, причем — не единственный. В беседу вмешивается его приятель Алабин и вторит ему: «Правда, что вы напрасно рассердились на иностранца! Он также ошибался, судя о русских по князю Курдюкову и графу Хохленкову <...>. Придет время, и мы докажем, что русские не изнеженные мидяне <...>, но достойные потомки славян, воспитанники Петра Великого!» [83, с. 48–49]. Теперь-то уж все читатели Булгарина должны были понять, каким образом следует учить иностранцев уважать Россию: надобно внушить им любопытство и показать им свою силу.

**Поиски рецепта.** Сама по себе попытка предложить обществу рецепт воздействия на иностранные представления, конечно, имеет право на существование. В конце концов это одна из форм участия в общенациональном обсуждении тактики «ответной рецепции». Но казус в том, что болгаринский «рецепт» слишком напоминает знаменитое поучение Козьмы Прутова: «Хочешь быть счастливым — будь им!» Действительно, как должен был читатель Булгарина внушать любопытство иностранцам или демонстрировать перед ними российскую силу? Этого Булгарин не пояснял.

Иное дело, когда подобный рецепт коррекции европейских мнений о России являлся результатом не только личных рассуждений, но и итогом развития масштабной мировоззренческой концепции.

В 1845 г. в 4 номере «Москвитянина» появилась статья А. С. Хомякова «Мнение иностранцев о России». В зарубежных суждениях о российской жизни автор обнаруживает «путаницу в понятиях и даже в словах», «бесстыдную ложь», «наглуую злобу» и задается вопросом: «На чем основана такая злость, чем мы ее заслужили?» [545, с. 83] Ответ, по мнению Хомякова, кроется в двух причинах: «различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы» и «досада» Европы перед «самостоятельной силой» России [545, с. 83]. Хомяков констатирует, что при таком положении вещей Россия, конечно, не может ожидать от Запада «полной любви и братства», но она имеет все основания «ожидать уважения». Однако в современных «сказаниях» иностранцев о России Хомяков не обнаруживает и следа почтительного чувства. «<...> Собственное признание в нашем духовном и умственном бессилии, — заключает он, — лишает нас уважения: вот объяснение всех отзывов Запада о нас» [545, с. 87]. Как выход из сложившегося положения публицист предлагает русскому обществу вернуться к собствен-

ным духовным истокам, проникнуться ими, не профанировать их перед иностранцами. «Тогда, — убеждает Хомяков, — мы не будем сбивать с толку иноземцев ложными показаниями о самих себе, и Западная Европа забудет или предаст презрению тех жалких писателей, о которых один рассказ уже внушает тяжелое чувство досады <...>» [545, с. 103].

Заметим, что основная часть статьи посвящена вовсе не анализу конкретных высказываний и оценок иностранцев о России, а выработке своеобразного рецепта борьбы с западной недоброжелательностью. По мысли Хомякова, российское общество должно осознать, что Россия обладает оригинальным духовным потенциалом, качественно отличным от европейского и более мощным, и обнаружить перед Западом силу этого потенциала. Хомяков развивает эту идею в следующей статье с характерным заглавием «Мнение русских об иностранцах» («Московский сборник», 1846).

Статья имеет сходную с предыдущей композицию. В начале автор называет исключениями любые доброжелательные суждения иностранцев о России и заявляет, что «мнение Запада о России <...> выражается в огромном успехе всех тех книг, которых единственное содержание — ругательство над Россиею, а единственное достоинство — ясно высказанная ненависть к ней» [545, с. 104]. А затем он снова приходит к тому, что причина кроется в неуважении русского общества ко всему отечественному, доказывает пагубность «эклектического» подражания «шаткому и бесплодному духовному миру Запада» [545, с. 134] и необходимость развивать самобытное русское миропонимание. Поскольку статья начинается с апелляции к мнениям иностранцев, она тоже должна была восприниматься читателем в качестве разъяснения, каким образом русское общество может противостоять предвзятым мнениям европейцев.

Обе статьи Хомякова являлись частью задуманного им «публицистического трактата», посвященного поиску путей возвращения русского общества к национальной почве [248, с. 312–325]. Он рассматривает эту проблему то в связи со строительством железной дороги в России («Письмо из Петербурга», 1845), то в связи с размышлениями о перспективах русского искусства («О возможности русской художественной школы», 1847). Поэтому и обращение Хомякова к мнению иностранцев о России можно было бы расценить как формальный повод создать одну из «многочисленных вариаций» [248, с. 316] своей мысли. Отчасти это

объяснение было бы верным, но, кажется, не полным. Так, например, оно не давало бы ответа на вопрос, почему Хомяков выбрал для демонстрации своих мировоззренческих моделей именно мнения иностранцев о России.

А, думается, потому, что в этих двух работах европейская рецензия России сыграла не только роль случайного внешнего раздражителя, побудившего автора очередной раз изложить славянофильскую позицию. Хомяков почувствовал одну из наиболее актуальных и сильных тенденций русской литературы — защитить Россию перед лицом западных мнений. Он был убежден, что эта тенденция неизбежно должна войти в соприкосновение с деятельностью, с идеологическими и жизненными установками славянофилов. И он искренне готов был доказывать, что истинный «рецепт» борьбы с иностранной недоброжелательностью может быть создан только на основе принципов славянофильской идеологии. По его мысли, русское общество должно было проникнуться любовью и уважением к духовным началам отечества и продемонстрировать это уважение перед западным миром. Хомяков сам применил этот «рецепт» на практике и, как помним, выступил перед западным читателем с брошюрами в защиту русской церкви, с достоинством назвавшись «православным христианином» и проявив при этом ту русскую находчивость, которая издавна импонировала мнениям иностранцев о России.

**Столкновения в своем лагере.** Однако не стоит воспринимать коллективное формирование общенационального текста «ответной рецепции» как некое совещание, подчиненное регламенту, управляемое единым авторитетом и проникнутое ощущением взаимопонимания. Если образец русского путешественника, созданный Карамзиным, так и был воспринят большинством читателей в качестве образца, то — это, скорее, исключение из правила, нежели правило. В дальнейшем, чем сложнее становились отношения между Россией и Европой, чем более разносторонне развивалось российское самосознание, чем совершеннее, наконец, становилась русская литература, тем напряженнее и противоречивее оказывался процесс внутрিলитературного обсуждения «ответа» на европейские суждения о России. И теперь уже, скажем, «рецепт» Хомякова, конечно, не мог удовлетворять абсолютное читательское большинство. Российская аудитория была разделена на группы и лагеря точно так, как разделена была сама литература. А потому внутрিলитературный (внутринациональный) диалог

по поводу того, как же стоит отвечать иностранцам на их «сказания» о России, зачастую превращался в острую полемику.

Так, в 1858 г. «Современник» опубликовал критическую статью о книге А. А. Гяраинова «Что такое г. Тьер и шашествие его на Россию», которая, в свою очередь, являлась критическим разбором труда французского историка о войне 1812 г. и которую мы уже упоминали. Разоблачительный пафос брошюры Гяраинова отражался уже в названиях разделов: «Мелкие грехи г. Тьера»; «Крупные грехи г. Тьера»; «г. Тьер весь налицо»; «Апофеоза г. Тьера».

Критик «Современника», явно иронизируя над А. Гяраиновым, цитирует «опровержения» патриота. На замечание Тьера о неверии Кутузова в Божию Матерь и в Бога, Гяраинов «горячо и благородно, — пишет “Современник”, — защищал память великого полководца от нелепого и ужасного обвинения Тьера», и далее доводы Гяраинова: «Фельдмаршал не был ханжа, но был хороший христианин в духе православной католической церкви, по старине. В этом убеждена вся Россия, и поручатся все, его знавшие. Мог ли князь особенно не верить Владычице Небесной, он добрейший из людей, надежный друг, преданный родной и нежный отец! Все эти качества в человеке как-то еще больше располагают молиться Пречистой Деве, представительнице чистой любви Небесной. Образ Божией Матери даже в походах не оставлял его, и он будто Ей не веровал!» [351, с. 60]

Постепенно ирония статьи «Современника» усиливается. «К удивлению и к сожалению нашему, — замечает критик, — г. Гяраинов (так в «Современнике». — В. О.) принял грубый, раздраженный тон, допустил несколько выходок не совсем деликатных. Так, защищая Баркляя-де-Толли, г. Гяраинов говорит: “что кому за дело до происхождения чьего-нибудь?” А между тем сам же он “знакомство с Тьером” начинает с того, что “отец его (Тьера. — В. О.) был мастеровым, а сестра содержала обеденный стол по два франка с половиною с персоны”. <...> Гяраинов упрекает Тьера за то, что он назвал Кутузова, между прочим, *кривым* (что, в сущности, вовсе и не обидно). Господин Гяраинов справедливо замечает, что выставлять на вид телесные недостатки человека — неблагородно. А между тем, сам же г. Гяраинов издевается над малым ростом Тьера. Упрекая его за преувеличенное показание потери русских в битве при Молодечно, г. Гяраинов так говорит: “что за кровавадный человек этот г. Тьер: только и думает, как бы поболее перебить народу, а посмотреть на него, — в среднюю шеренгу внут-



ренной стражи нельзя поставить; но чему удивиться — крошечные собачки всегда бывают очень злы» [351, с. 61, 64].

«Современник» подмечает, что порою Гярайнов «увлекается до того, что забывает сказать настоящее опровержение Тьеру и ограничивается восклицательным знаком и обращением вроде следующего: «Люди 1812 года! Скажите этому г. Тьеру, что он бессовестно и бесстыдно клеветет!» [351, с. 62]

Тон статьи превращается в совершенно уничтожающий, когда речь заходит о заявлении Гярайнова, что книга его «должна перевестись на иностранные языки и пошлется в чужие края». На что критик замечает: «Не лучше ли не делать этого? Нам кажется, что она может более повредить делу, нежели защитить его» [351, с. 63].

Понятно, что «Современник», откровенно потешаясь над брошюрой Гярайнова, выбирает предмет критики манеру автора, а не цель его сочинения<sup>5</sup>. В ситуации межлитературного диалога журналист не хотел бы допустить, чтобы российская сторона была представлена столь неискушенным полемистом. Впрочем, не только — неискушенным. Корреспондент «Северной пчелы», Гярайнов выражал официальную точку зрения, причем — с тем «мастерством», которое было присуще казенным литераторам. Открыто спорить с такими литераторами допускалось далеко не всегда.

Скажем, А. В. Дружинин, познакомившись с опровержением Н. И. Греча на книгу Кюстина, записал в дневнике: «Эта рецензия далеко не так подла, как заставляет предполагать имя Греча <...>» [177, с. 298]. Мог ли Дружинин высказать это мнение публично, когда даже имя Кюстина было запрещено упоминать в печати? А вот дневниковая запись Герцена о той же книге Греча: «Гречева защита государя против Кюстина факт поразительный, — она обвиняет правительство гораздо хуже Кюстина тоном апологии <...>. Явная ложь, наглые презрительные ссылки на дела, всем известные и представленные совсем иначе, рабский,

---

<sup>5</sup> Заметим, что критика Гярайнова не лишена кое-где пронизательности. Так, обращаясь к эпизоду тьеровской «Истории», где пленный русский казак якобы рассыпался перед Наполеоном в подобострастных комплиментах, Гярайнов предположил, что, «если анекдот не выдуман», то, скорее всего, «смысленный донец (так называемый г. Тьером), видя, что его слушают и обещают свободу, нассказал разного вздору, а историк обрадовался и составил из него психологические данные о русской армии» [124, с. 21]. Позднее именно такую версию предложил и обыграл в «Войне и мире» Л. Н. Толстой. А еще позднее выяснилось, что «анекдот» с казаком оказался-таки выдумкой Тьера. Но об этом мы еще скажем дальше.

холопский взгляд и дерзкая фамильярность <...>. Нигде не защищает он России, он говорит только о лице государя, оправдывает его <...>» [127, т. 9, с. 155]. Так полемика с официальными источниками и с «защитниками» России чаще всего велась на уровне потаенных записей и откровенных бесед в узком кругу. В лице Гаряйнова «Современник» поражал ту «литературу», которая чаще всего оставалась неуязвимой для критики.

Впрочем, основное литературное противостояние (во всяком случае, открытое противостояние) по поводу тактики «ответной рецепции» возникло между западниками и славянофилами. Как две эти партии разделились между собой на основе разности представлений о прошлом и будущем России, о необходимости или вреде подражания Западу и т. д., точно так же они разошлись во мнениях, каким образом следует русским защищать свой зарубежный имидж. Проблема европейского имиджа России настолько близко соприкасалась с идеологической системой славянофилов, что могло создаться впечатление, будто именно негативные суждения европейцев о России и стали импульсом возникновения славянофильского мировидения. Вот, скажем, герой повести В. Соллогуба «Тарантас» Иван Васильевич. Как помним, его патриотические убеждения зародились во время путешествия за границу. А каким образом? «<...> Иван Васильевич замечал, — пишет Соллогуб, — что, куда бы он ни показался, в какую землю бы он ни приезжал, — на него смотрят с каким-то недоброжелательным завистливым вниманием. Сперва приписывал он это личным своим достоинствам, но потом догадался, что Россия занимает невольно все умы и что на него так странно смотрят единственно потому, что он русский. Иногда за табльдотом делали ему самые ребяческие вопросы: скоро ли Россия завладеет всем светом? правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. <...> Каждый день выходили из печати глупейшие насчет России брошюры и книги, написанные с какой-то лакейской досадой и ровно ничего не доказывающие, кроме бездарности писателей и опасений Европы. Мало-помалу заграничная жизнь заставила Ивана Васильевича невольно задуматься о своей родине. Думая о ней, он начал ею гордиться, а потом начал ее и любить» [493, с. 333]. В глазах Белинского подобная «история» патриотических чувств свидетельствовала об иллюзорности патриотических убеждений. «Неприяженные толки иностранцев о России, — писал он, отзы-

ваясь на повесть Соллогуба, — заставили Ивана Васильевича думать о своем отечестве и полюбить его. Черта, вполне достойная *Ивана Васильевича!* <...> Ему нужно, чтобы его толкали извне <...>. Без поездки за границу ему никогда не пришло бы в голову полюбить Россию <...>. Поэтому, как приятно, что <...> это не чувство, а новая мечта его празднующейся фантазии!» [56, т. 2, с. 828]. И Соллогуб, и Белинский, конечно, метили в славянофилов и людей, мыслящих в славянофильском духе. И замечания эти были вовсе не далеки от истины, поскольку похожих «историй» возникновения или активизации патриотических чувств можно было бы указать множество. Вот, например, воспоминания историка И. П. Сахарова (1807–1863), в которых причина его интереса к России объясняется следующим образом: «Литературные занятия мои, — писал Сахаров, — направлены были исключительно с 1825 года на русскую историю, странно и неожиданно. Раз как-то был я в беседе, где два чужеземца нагло и дерзко уверяли русских, что у них нет своей истории. Мне было горько и больно слышать эту нелепость; но я был бессилен: я не знал русской истории <...>». Чем же эта судьба отличается от судьбы Ивана Васильевича? Кажется, мало чем. Да только вот если присмотреться к фактам, то окажется, что перед лицом зарубежных нападков на Россию даже и западники зачастую вели себя точно так же, как славянофилы: чувствовали обиду за отечество и начинали искать в этом отечестве нечто такое, что могло бы реабилитировать его в глазах Европы, и, наконец, отчаянно защищали европейский имидж России. Самый яркий пример тому — Герцен.

Впрочем, мы уже довольно говорили о том, что пребывание в Европе обостряло и привязанность к России, и интерес к ней почти у любого русского литератора. А потому поостережемся связывать историю патриотических чувств и убеждений Ивана Васильевича исключительно с лагерем славянофилов. Но заметим: уже из этой ситуации можно вывести, что между славянофилами и западниками существовало противоречие по поводу «неприятных толков иностранцев о России». Думается, противоречие это не эпизодическое, а принципиальное; но — обо всем по порядку.

Противостояние между поклонниками и противниками европейского образа жизни и зарубежных влияний существовало в России издавна. В XVII в. участие иностранцев во внутренних делах России вызывало недовольство православной церкви. Так, патриарх Иоаким в своем завещании «молил» российских царей,

«да возбранят» они «проклятым еретикам иноверцам начальствовать в <...> государских полках», но «да велят отставить их, врагов христианских, от полковых дел всесовершенно»: «Потому что иноверцы с нами, православными христианами, в вере не единомысленны, в преданиях отеческих несогласны, церкви, матери нашей, чужды: какая же может быть помощь от них, проклятых еретиков, православному воинству?» [170, с. 161]. Загляни мы в более ранние эпохи, и там, наверняка, обнаружили бы противоречия, связанные с заимствованием чужеземных норм жизни. Эти противоречия неизбежны в любых ситуациях столкновения между *своим* и *чужим*. И кажется совершенно справедливым заключение Н. Страхова, что «славянофильство в зачаточных и неясных, хотя иногда и резких, формах обнаруживается с незапамятных времен» — «как естественная реакция своеобразного русского развития против <...> влияния Европы» [500, с. VII]. Однако с петровской эпохи конфликт между сторонниками пришлых нравов и их противниками превратился чуть ли не в стержень идеологической эволюции российского общества. Общественная жизнь России XVIII – начала XIX вв. складывалась таким образом, что борьба между партиями продолжалась непрерывно и выходила, прежде всего, на литературный уровень.

В 1811 г. сторонники «русского направления» объединились в литературное общество «Беседа любителей русского слова». Патриотическая идеология общества была ориентирована на официальное понимание предмета. Даже структурно «Беседа» напоминала некий государственный орган, поскольку была сформирована по образцу Государственного Совета [76, с. 22]. Агрессия «Беседы» против любых нововведений привела к тому, что в 1815 г. в противовес ей образовалось знаменитое литературное общество «Арзамас». Участники «Арзамаса» со светской легкостью и литературным умением вышучивали своих оппонентов «беседчиков». Среди прочих поводов для иронии был, например, и такой: в 1816 г. С. С. Филатов публиковал в «Чтениях» «Беседы» статьи, где оспаривал «несправедливые суждения иноплеменных писателей касательно России». По этому случаю Д. К. Кавелин (в «Арзамасе» — «Пустынник»), как полагалось в «Арзамасе», прочел «Похвальное слово» будто бы усопшему Филатову. В «Слове» иронически имитировалось чтение филатовских трудов в «Беседе». «Просыпавшиеся от времени до времени, свидетельствуют, — живописал Кавелин, — что в нем (в сочинении Филато-

ва. — В. О.) с математической точностью доказано было следующее: “В самой отдаленной древности и едва ли не прежде великого князя Владимира, может быть, даже Рюрика, может быть, даже прежде Арзамаса, российское воинство было образовано столько же хорошо, если не лучше настоящего <...>”. Пробудитесь, возлюбленные, воспряньте на минуту, и я еще крепче усыплю вас — прочтем напечатанное в Архивах Б[еседы] сочинение нашего усопшего: “О несправедливом суждении иноплеменных писателей касательно состояния России до XVIII века”» [28, с. 178].

Между тем менялись условия, и усложнялся идеологический уровень борьбы. К 1840-м гг. из литературно-языкового, по сути дела, спора она переросла в одно из острейших идейных противоречий, пронизавших российскую жизнь. И если в 1816 г. ответ «славенофила» на «несправедливые суждения иноплеменных писателей» мог вызывать неприятие со стороны «французоманов» — в первую очередь своей «усыпляющей» формой, то через три десятка лет подобный ответ вызывал западническую критику уже по существу самого вопроса.

Разность взгляда на тактику «ответной рецепции» обусловливалась коренным расхождением идеологических позиций западников и славянофилов. Это легко обнаруживается даже по тому «рецепту» противодействия европейской предвзятости, который предлагал Хомяков. Ведь призыв проникнуться уважением к России, дабы внушить это уважение иностранцам, был косвенным ударом по западникам, которые готовы были, скорее, критиковать и менять отечественный быт, нежели искусственно разогревать в себе и посторонних уважение к нему.

Это не покажется голословным, если обратимся к дневнику Герцена. В январе 1844 г. Герцен узнал, что в Париже опубликована статья некоего русского, который утверждал, будто во Франции такое количество российских шпионов, что русские не решаются там откровенно беседовать с соотечественниками, опасаясь доноса. «Итак, мы являемся позорнее и позорнее для Европы, — замечал по этому поводу Герцен, — покров за покровом падает и вместо сильного народа является коленопреклоненная толпа и палач. А славянофилы за надежды, за возможности смотрят с пренебрежением на европейцев <...>. В этом, как и во всем, останутся резкие преграды между нами» [127, т. 9, с. 144]. В эту пору Герцен был целиком поглощен осмыслением разногласий между западниками и славянофилами и то и дело возвращался к проблеме европейско-

го имиджа России. В декабре того же 1844 г. он записывал в дневнике вопросы, типичные для славянофилов: «Зачем иностранцы нас не понимают, зачем смотрят враждебно, зачем мало занимаются нами <...>?» И тут же отвечал: «Да зачем мы сами не более 15 лет стали заниматься собою как самобытными, да зачем, начавши собою заниматься, вывели одни нелепости? Заниматься кем-нибудь тогда только можно, когда он стоит этого. Европа очень занимается нашей силой, потому что она в ней видит мощного раба под влиянием розги и бича, который готов на время разрушить великие плоды веков» [127, т. 9, с. 211].

В 1845 г. Герцен редко возвращался к своему дневнику и осенью вовсе прекратил его. Видимо, просмотрев все написанное прежде, Герцен замечал, что «на последнем листе повторится то же, что было сказано на первом». А в последней записи говорилось следующее: «Страшная эпоха для России, в которую мы живем, и не видать никакого выхода. <...> Мы потеряли уважение в Европе, на русских смотрят с злобой, почти с презрением. Россия становится представительницей всего ретроградного, материальной силой, употребляемой для того, чтоб остановить течение европейского развития; да и как же иначе смотреть на нее?» [127, т. 9, с. 233]. Смог бы в то время Герцен или любой из его единомышленников выполнить рекомендацию Хомякова и проникнуться уважением к России, да еще до такой степени, чтобы внушить это уважение иностранцам? И стоит ли удивляться тому раздражению, которое вызывали у Герцена славянофильские «рецепты» спасения России и ее европейского престижа?

Принципиальное различие между славянофильским и западническим отношением к европейскому и, в частности, французскому тексту о России в том, что славянофилы обнаруживали в этом тексте, как правило, лишь извечную предвзятость, почти фатальную ненависть и искажение действительности. Причем этот взгляд относился не столько к отдельным фактам, сколько — ко всему европейскому тексту о России и ко всем его авторам. Западники, напротив, даже признавая всю мифологичность европейского восприятия России, стремились обнаружить в этом тексте объективное критическое начало, которое, по их мысли, могло бы быть полезным для осмысления российской действительности. Это очень легко продемонстрировать на примере того, как по-разному западники и славянофилы воспринимали, скажем, иностранные исторические источники о России.

**«Сказания иностранцев» на службе России.** В 1857 г. Н. Г. Чернышевский опубликовал в «Современнике» статью по поводу выпущенного в свет П. Бартевым «Собрания писем царя Алексея Михайловича». Усомнившись в ценности переизданных славянофилом документов, Чернышевский замечает: «Не лучше ли было бы позаботиться об издании на русском языке важнейших сочинений, написанных о старой Руси иноземцами? По своей драгоценности для изучения нашего старинного быта они важны не менее, нежели наши отечественные источники, быть может, даже важнее их». «<...> Вероятно, найдутся некоторые, — продолжает Чернышевский, — готовые уже возразить: “Но иноземные путешественники большей частью смотрели на нас глазами, предубежденными не в нашу пользу, и слишком мало знали наш быт”. Такое предубеждение против достоверности известных, сообщаемых иностранными писателями о старой Руси, совершенно несправедливо» [557, с. 3], — заключает публицист и в качестве подтверждения своей мысли приводит обширный пересказ очерка о «частном быте русских в XVI–XVII вв., составленный исключительно по иноземным писателям» [557, с. 5].

Подбирая материал, Чернышевский явно акцентирует внимание на пресловутых «азиатских чертах»: «Подобно народам татарского и монгольского племен, русские считали тучность одним из главных условий красоты» [557, с. 8]. «<...> Говорили, что если в женщине меньше пяти пудов веса, то красавицею ее нельзя назвать. <...> Пристрастие к баням не мешало общему восточному пороку — неопрятности, которая удивляла и смущала иностранцев» [557, с. 9]. «Следствия обычая женить <малолетнего мальчика на взрослой девушке> бывали приятны для свекра, и потому духовенство напрасно усиливало препятствовать подобным бракам». «Нечего говорить о том, — заключает Чернышевский, — что все эти гнусные привычки имели чисто восточный характер» [557, с. 15]. После этого у читателя сам собой напрашивался вывод, что сближение России с Западом было единственным способом борьбы с «азиатчиной». А Чернышевский завершает статью той (вполне разумной, на наш взгляд) мыслью, «что издание «Библиотеки иноземных писателей о России до Петра Великого» было бы величайшею услугою для расширения взглядов на смысл русской истории» [557, с. 18].

Для Чернышевского цитированная статья не была эпизодическим поводом задеть славянофилов и в очередной раз провозгласить собственную западническую позицию. Исследование иностранных источников о российской истории являлось для него и осознанной необходимостью, и делом искреннего, глубокого интереса. Это подтверждается среди прочего, например, его вниманием к иностранным сочинениям о Крымской войне. Известно, что он неоднократно выступал с критическими отзывами о них. Но приведем свидетельство, которое, на наш взгляд, выглядит даже более красноречиво, нежели сами печатные работы Чернышевского. Речь идет о воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева, где зафиксирована беседа Чернышевского с иркутским жандармским полковником Келером. И любопытно, о чем разговаривали жандарм и знаменитый литератор, а в недавнем прошлом — каторжанин Чернышевский, направлявшийся через Иркутск на поселение в Астрахань. «Когда разговор перешел на участие Чернышевского в “Современнике”, — вспоминает мемуарист, — то он особенно остановился на одной из своих статей, а именно: рецензии на известную книгу Кинглека о Крымской кампании. В течение, может быть, двух часов Н. Г. рассказывал содержание этой книги, и притом с такими подробностями, что можно было подумать, что он сам был участником осады Севастополя, так хорошо знал он расположение бастионов, батарей, частей войск и т. д.» [400, с. 484]. Кажется, такая точность, с какой память Чернышевского сохранила подробности английского источника, свидетельствует об одном: Чернышевский изучал текст с чрезвычайным вниманием и скрупулезностью, а значит, сознавал его принципиальную значимость.

Мы вовсе не хотим сказать, что славянофилы совершенно игнорировали европейские источники об истории России. Нет, когда, например, К. С. Аксаков написал драму «Освобождение Москвы в 1812 году», то предупредомлял читателя, что «драма верна <...> относительно исторических лиц», и утверждал, что характер Салтыкова подтверждается отзывами «своих и иностранных (!) писателей» [14, б. с.]. А когда А. С. Хомяков написал драму «Дмитрий Самозванец», то предпослал ей эпиграф на французском языке, взятый из старинного сочинения неизвестного европейского автора. «Я думаю, — говорилось там, — что, если бы он (Дмитрий. — *В. О.*) вел себя более скромно, не являясь с поляками, женился бы на русской, приспособившись бы к местным прави-



лам, то будь он хуже последнего монаха, корона осталась бы на его голове» [547, с. 278]. Эти слова настолько точно отражают позицию самого Хомякова, что невольно приходит на ум: не является ли текст эпитафия искусно выполненной Хомяковым имитацией исторического источника?

Как раз во время создания этой драмы выходили в свет «Сказания современников о Дмитрие Самозванце» (1831–1834) Н. Устрялова (на это обращает внимание и Б. Ф. Егоров [547, с. 579]), и Хомяков вполне мог предпринять такую мистификацию, чтобы подчеркнуть близость драмы к актуальным историческим интересам. Кроме того, примерно тогда же, в 1832 г., Хомяков написал стихотворение <В альбом С. Н. Карамзиной>, также предварив его двумя иностранными эпитафиями. Один из них на английском языке гласил: «Быть в Петербурге с душой и сердцем — значит, быть одиноким» и был подписан: «Неопубликованное путешествие». Второй, судя по указанию Хомякова, был взят из «Путешествия Абдул Фареда Странника» и написан по-французски: «И я увидел город, где все было каменное: дома, деревья и жители» [547, с. 100]. Признаться, нам не доводилось читать «Путешествие Абдул Фареда Странника», но, во всяком случае, думается, что первый эпитафия — это уж точно авторская выдумка Хомякова: он чувствовал моду на иностранные источники о России и подтрунил над этой модой, сочинив в альбом Карамзиной изящную и шуточную мистификацию. Если и эпитафия к «Дмитрию Самозванцу» был сочинен самим Хомяковым, то он, конечно, не был салонной шуткой, а являлся художественным приемом, который придавал драме вид исторической достоверности.

Но даже если эпитафия к «Дмитрию Самозванцу» — действительно цитата из исторического источника, то очевидно, что автор выбрал именно то свидетельство, которое подтверждало славянофильский взгляд на факт из российской истории. Это вполне закономерно: всякий ищет среди исторических свидетельств подтверждения собственным мыслям. Чернышевский подтверждал иностранными источниками необходимость приближения России к европейским нормам жизни, а Хомяков — опасность сближения с Европой. Но дело в том, что как раз иностранные сочинения о России, хоть старинные, хоть современные, в своем большинстве подтверждали позицию западников, а не славянофилов. А потому и получалось, что западники искали в европейском тексте о России, в первую очередь, объективное начало, а славянофилы —

субъективно-предвзятое. Из этого проистекало и различие тактических приемов в создании текста «ответной рецепции». Возьмем хоть ту же работу Герцена «О развитии революционных идей в России» (1851). Герцен в ней очень мало спорил с европейскими мнениями о российском самодержавии, о крепостном рабстве, о деспотизме и злоупотреблениях. Смысл брошюры сводился к тому, что европейская критика всех этих российских пороков действительно справедлива, но Европа не видит за этими пороками позитивного начала, которое заключает в себе русский народ. Вот об этой неизвестной, позитивной стороне российской жизни и рассказывал Европе Герцен, в остальном приняв европейскую критику на собственное вооружение.

Точно так же незадолго перед тем действовал и М. А. Бакунин. В 1849 г. он опубликовал в Лейпциге брошюру «Русские дела», где обрушивался на отечественные порядки и использовал при этом формулы европейской публицистики и литературы. Например, такой фрагмент: «В России все рассчитано на то, чтобы пышно видимостью заменить отсутствующую сущность, и подобно тому, как Потемкин с помощью декораций и согнанного народа обманул Екатерину II относительно блестящего состояния вновь приобретенной провинции Тавриды, так и царь со своей стороны всегда старается использовать к своей выгоде искусственно поддерживаемые иллюзии Европы относительно действительного состояния России» [35, с. 417]. Это не что иное, как использование кюстиновской формулы «Россия — империя фасадов». Но, наряду с этим, Бакунин старается внушить европейскому читателю, что в России существуют предпосылки для исправления зла, и одна из них — противостояние русского народа российскому самодержавию. «О русском народе, — заявляет Бакунин, — за границу вообще не имеют никакого представления <...>. Обыкновенно на него смотрят как на грубую, бессознательную толпу, как на массу нулей, которая, будучи приставлена к царской единице, придает последней внушительный вид. <...> Русский народ вовсе не так тождественен и солидарен с императором <...>. Это — величайшая ложь, когда читаешь, что каждое утро 65 миллионов человек молятся за царя и что царский приказ является чем-то неприкосновенным <...>. Никто о нем не думает <...>» [35, с. 405].

Итак, западники стремились обнаружить и использовать в подтверждение своей идеологии объективные данные, заключенные в европейском тексте о России. В то же время славянофилы ис-

кали в этом тексте ошибки, сознательные искажения, предвзятость и недобросовестность, что свидетельствовало бы о недопустимости воспринимать иностранные суждения о России в качестве объективного и полезного мнения. Однако, как уже говорилось, в российском обществе к тому времени уже вполне созрела мысль, что разрозненные суждения европейцев о России представляют собой некое единство — глобальный миф о России, в котором есть свои персонажи, свои стабильные сюжеты, и даже свои время и пространство [376]. Разоблачать отдельные подробности этого мифа, конечно, стоило, но эти разоблачения были подобны булавочным уколам, поскольку не были способны нарушить структуру мифа.

**Миф – против мифа.** Из этого следовал резонный вывод: *европейскому* мифу о России следует противопоставить равноценную величину — *российский* миф о России. Кажется, именно этим соображением руководствовался А. С. Хомяков, когда во второй половине 1830-х гг. приступил к созданию труда настолько оригинального, что его цель, структура и жанр до сих пор не находят точных определений. Друзья и единомышленники Хомякова называли этот труд совершенно условно: «Семирамида». Ю. Ф. Самарин, публикуя после смерти автора отрывки этого сочинения, озаглавил его «Записки о всемирной истории» — заглавие весьма неопределенно-общее. Составитель и комментаторы «Сочинений» Хомякова в 2-х тт. (В. А. Кошелев, Н. В. Серебренников, А. В. Чернов), опираясь на гипотезу Н. В. Серебренникова, предлагают возможный вариант названия «Семирамиды». Поскольку Хомяков зашифровал название своего труда четырьмя буквами «и», исследователи предлагают читать: «И<сследование> и<стины> и<исторических> и<дей>» [546, т. 1, с. 540]. Вполне возможно, что Хомяков именно так и собирался назвать свою работу, но очевидно, что название это тоже предельно общее и могло бы подойти к какому угодно масштабному историческому труду. Кажется, автор сам затруднялся с выбором заголовка, который характеризовал бы своеобразие замысла.

««Семирамида» начисто лишена всех признаков научного исторического сочинения, — замечает В. А. Кошелев. — В ней совершенно отсутствуют цитаты и указания на исторические источники» [248, с. 191]. Ученый полагает, что «Семирамида» — это попытка создания национальной историософской модели. Совершенно соглашаемся с этим мнением, как и с тем, что в «Се-

мирамиде» русская история «в представлении Хомякова, оказалась, так сказать, сознательно измененной в соответствии с системой субъективных историософских представлений славянофильского вождя» [251, с. 114]. Иными словами, «историософская модель» Хомякова представляет собой не что иное, как миф о России. Причем мифологическое начало прослеживается не только и не столько в отсутствии историко-научного аппарата, сколько в стремлении Хомякова постичь судьбы национальных типов с помощью «внутреннего чувства зрителя» [546, т. 1, с. 55], то есть с помощью интуиции и стабильных мировоззренческих моделей.

«Семирамида» Хомякова, на наш взгляд, имела продолжение в виде известной книги Я. Н. Данилевского «Россия и Европа». Убеждения Данилевского во многом базировались на славянофильской концепции видения российской истории, в основе его книги — та же мысль о вековечном противостоянии между Россией и Европой и ненависти европейцев к России, обусловленной этим противостоянием. Данилевский с того и начинает, что в Европе «не устают кричать на все лады», что «Россия <...> колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. <...> Что Россия будто бы представляет <...> какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе» [161, с. 19]. Дабы опровергнуть эти обвинения, Данилевский совершает экскурс в мировую историю и демонстрирует читателю, что во всех войнах позиция России была благородна, что все приобретения России сводились к присоединению этносов, не имевших государственности, и что Россия никогда не угрожала европейским свободам.

За что же Европа ненавидит Россию? Данилевский замечает, что эту ненависть зачастую относят на счет незнания российской жизни в Европе. «Где же бедной Европе узнать истину? — восклицает Данилевский. — Она отуманена, сбита с толку. <...> Курам на смех, друзья мои. Почему же Европа, — которая все знает от санскритского языка до ирокезских наречий, от законов движения сложных систем звезд до строения микроскопических организмов, — не знает одной только России? <...> Европа не знает, потому что не хочет знать; или лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как соответствует ее презрению» [161, с. 40]. Значит, европейскую неприязнь к России нельзя объяснить недостатком информации. Так чем же объяснить?

«Дело в том, — утверждает Данилевский, — что Европа не признает нас своими». И далее развивает мысль: «Это-то бес-сознательное чувство, этот-то исторический инстинкт и заставляет Европу не любить Россию. <...> Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет священную обязанность и истинную задачу цивилизации. <...> Удовлетворительное объяснение <...> этой общественной неприязненности можно найти только в том, что Европа признает Россию и славянство чем-то для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным» [161, с. 42–43]. Эта враждебность, по мнению Данилевского, обусловлена различием культурно-исторических типов и постоянной конкуренцией между ними. Отсюда вытекает заключение, что Россия должна признать ненависть к себе со стороны Европы как данность и в будущей своей политике любое решение соизмерять с этой данностью.

Как и Хомяков, Данилевский избегает ссылок на исторические документы. Но «мифологичность» его труда даже не в этом. Главное, что он стремится к обобщениям, основываясь не столько на конкретных фактах и строгих подсчетах, сколько — на эмоциях и стереотипных представлениях. Если к России относятся враждебно, то непременно *все* европейцы, будто в Европе и не раздавалось вовсе голосов в поддержку российского имиджа, и будто не было восторженной встречи парижанами русских войск, не было успеха российских литературных произведений в Европе. Если Россия вела благородные войны, то они непременно *все* были благородны, будто не было, скажем, подавления венгерского восстания в 1849 г. Данилевский основывает свои рассуждения на мифологической стороне истории, которая создается, как правило, дипломатиями и политиками. Так, он видит причину Восточной войны в желании России защитить православную церковь, хотя даже во время самой войны в России мало кто верил в правомерность такого объяснения событий. Как некая историческая истина высказывается мысль о чуть ли не божественной протекции, оказываемой славянству на протяжении всей истории и т. д. и т. п. Данилевский создавал и создал миф, который мы не берем за развенчивать. Заметим лишь, что, на наш взгляд, он соответствует действительности ровно столько, сколько ей соответствовал, скажем, французский миф о России.

Но для нас важен сам принцип: славянофилы стремились противопоставить европейскому мифу о России свой собственный миф, тогда как западники, враждебно воспринимая эту славянофильскую

мифологию, видели спасение русского престижа в преобразовании российской жизни и готовы были использовать иностранные мнения о России, чтобы эти преобразования сделать реальностью.

Западники искали в «сказаниях» иностранцев истину, славянофилы — ложь, но поскольку в европейском (и в том числе во французском) тексте о России и лжи, и правды было довольно, то получалось, что западнику Герцену приходилось воевать против несправедливых европейских мнений, а историку славянофильского и официального толка Погодину оставалось признавать, что француз Кюстин высказал о России «много жестокой правды». А потому и приемы, и поводы ответов иностранцам у славянофилов и западников были зачастую одни и те же, но все же в своем идеологическом основании это были два неодинаковых подхода к созданию текста «ответной рецепции», такие же неодинаковые, какой, выражаясь словами Герцена, «неодинакой» была славянофильская и западническая любовь к России. Славянофилы и западники создавали два неодинаковых текста «ответной рецепции», которые сливались в единый общенациональный текст в защиту европейского престижа России.